

О Д Н А Ж Д Ы Т Ы У З Н А Е Ш Ь

*В 1941-м
мне было
шестнадцать*

18+

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЕВА

Вечные семейные ценности.
Исторический роман Натальи Соловьевой

Наталья Соловьева
Однажды ты узнаешь

«ЭКСМО»

2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Соловьева Н. В.

Однажды ты узнаешь / Н. В. Соловьева — «Эксмо»,
2023 — (Вечные семейные ценности. Исторический роман Натальи
Соловьевой)

ISBN 978-5-04-189839-7

История о том, какую большую роль в становлении личности играет семья и как сильно могут повлиять поступки предков на судьбу потомков. Наталья Соловьева искусно сплела жизни нескольких поколений, соединив в одном романе события современности и далекого 1941 года. Отдельного упоминания заслуживает степень исторической достоверности. Автор по крупицам собрала необходимую информацию и правдиво передала атмосферу и быт довоенной Москвы и охваченной войной белорусской глубинки. Этой истории по-настоящему веришь и с трудом сдерживаешь слезы, когда на плечи молодой Нины сваливается очередное страшное испытание. Наши дни: Лиза узнает о смерти бабушки в тяжелый для себя период: ее жизнь и семья разваливаются. Она летит на похороны и вспоминает детство. Лиза так и не простила мать и Ба за нанесенные в прошлом обиды. В квартире бабушки она находит записи – исповедь, которая навсегда изменит не одну жизнь. Ба делится с внучкой своей историей, начавшейся в далеком 1941 году. 1941 год: Нина полна надежд и верит, что впереди ее ждет прекрасная, благополучная жизнь. А какая еще может быть у москвички, отличницы и единственной дочери состоятельного отца? Но одна ошибка меняет все. Городской девчонке придется жестоко заплатить за юношескую самоуверенность и наивность. К тому же все это происходит накануне войны...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-189839-7

© Соловьева Н. В., 2023

© Эксмо, 2023

Содержание

Глава 1	7
Глава 2	21
Глава 3	25
Глава 4	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Наталья Васильевна Соловьева

Однажды ты узнаешь

© Н. Соловьева, текст, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

...я из воды вынул его.

Ветхий Завет. Исх. 2:10

Они стояли по колено в болоте. Черная вода кругом, холодно, стыло, хоть и лето. Где-то вдалеке слышалась немецкая речь. Их искали. Выйти в деревню, спрятаться не было никакой возможности – только замереть и не двигаться. Заморосил дождь. Вода теперь была везде.

Ребенок недовольно морщился и жадно искал грудь. Не найдя молока, отворачивал голову и снова начинал всхлипывать. Она еще крепче прижала его к себе и испуганно взглянула на крупнотелую рябую бабу. Та нажевала хлебных крошек в грязную тряпицу и сунула ребенку: он засосал и на какое-то время успокоился. Время шло. Она чувствовала на себе напряженные взгляды. Баба снова и снова начинала что-то неслышно говорить, но быстро умолкала и отводила глаза. Вскоре ребенок окончательно проснулся и начал кряхтеть. Она понимала – он вот-вот раскричится и, как знать, – удастся ли его быстро успокоить? Вдруг послышалось: «Партизайнен, выходи!»

Ребенок слабо запищал – она крепко прижала его к себе, поплотней укутала в одеяльце и стала трясти. Ребенок не унимался, кряхтел все сильнее и сильнее. Старик, седой, но еще крепкий, жилистый, навис над ней, протянул ручищи:

– Дай покачаю.

Но что-то злобное было в его взгляде.

– Нет! Я сама, сама смогу. Сейчас уснет.

Баба прошептала:

– Дай я возьму, ты ж устала, бедная. У меня успокоится, я большая, теплая.

Дрожащими от напряжения руками она протянула ребенка бабе – на ее большую уютную грудь. Баба быстро глянула на старика и, отвернувшись, наклонилась вниз, к воде.

– Что ты делаешь? Что?

Она хотела броситься к бабе, но старик опередил: схватил и зажал рот крепкой мозолистой рукой, пахнувшей тиной:

– Все через него погибнем, дура! Оставь!

Она из последних, непонятно откуда взявшихся, сил оттолкнула старика. В воде, все еще укутанный в тряпки, лежал ребенок. Безжизненное, бледное лицо его было скрыто водой. Она схватила ребенка, перевернула вниз головой и затрясла. Никто не учил ее, она сама знала, чувствовала, как надо.

Глава 1

Мне позвонили не вовремя. Сложно было подобрать более неудачный момент. Я была с Джоном. Он стоял с чемоданом. Уходил навсегда.

– Подождите, я не могу говорить.

Но голос возразил:

– Это не может ждать. Вы должны приехать.

– Что с ней? Она умирает?

– Она умерла.

Хлопнула дверь – Джон ушел. Ба умерла. Я осталась одна.

Я стояла у окна и смотрела, как Джон болтает с нашей соседкой снизу, грузит вещи в машину и, помигав поворотником, уезжает в свою квартиру где-то в Латинском квартале, где его ждет новая жизнь. Все было нереальным. Я не могла поверить, что происходящее со мной – правда. Все во мне вопило: это несправедливо! Мне захотелось вернуться в свое горе. Жалеть и жалеть себя. Никого не видеть. Я в бессилии упала на кровать, которую мы покупали вместе с Джоном, и почувствовала, что не могу больше оставаться здесь, среди воспоминаний о нашей счастливой жизни. Все здесь было связано с Джоном, переполнено им. Постель все еще хранила его запах. Аромат его кожи и геля для душа, который я ему подарила на прошлое Рождество. На тумбочке валялся журнал, который Джон читал еще вчера. Мы уже давно не разговаривали. И еще дольше не занимались любовью. Джон забыл зарядку от телефона. Или оставил ее как ненужную. Как и ненужную меня.

Я схватила ноутбук и парой кликов купила билет в Москву. К Ба. Я не хотела ехать. Она была и навсегда теперь останется чужой. Я не выбирала удобное для меня время вылета (не слишком раннее и не слишком позднее), как это делала обычно. Первый попавшийся рейс, на который я могла успеть.

Чемодан, случайные вещи. Да, нужно взять что-то черное. Рюмка коньяку, чтобы унять нервы, такси. Я совсем не думала о Ба. Все еще надеялась, что Джон позвонит, что мы еще сможем все обсудить и исправить. Звук его чуть хриплого голоса – и, честное слово, я сдала бы билет: Ба все равно уже умерла, а я – живая. Я хочу жить, хочу, чтобы он по-прежнему любил меня.

Паспортный контроль Шарль-де-Голля – и вот уже роскошные бутики в дьюти фри манят своими витринами. Новые коллекции, бездушные манекены. В другой ситуации я бы обязательно побаловала себя новым парфюмом. Тушью, которая увеличивает и удлинняет, очередным тональным кремом в попытке замазать морщины и синие от недосыпа круги. В последний год, когда все рушилось, косметические ухищрения, пусть даже в тесном соседстве с антидепрессантами и снотворным, оказались бесполезными. Покупки переросли в манию. Я транжирила все больше, но становилась все несчастнее.

Мне нет сорока. В глазах других я, несомненно, успешна, работаю в международном рекламном агентстве с офисом на Елисейских Полях, говорю на шести языках, каждые два-три года меня ждет повышение. У меня отдельный кабинет с видом, полеты бизнес-классом, интересные командировки по всему миру. Предсказуемое бизнес-окружение, где все играют по одним и тем же правилам. И если ты их понял, ты – свой и все у тебя будет отлично. Я поняла. Я – умница. Я красива, слежу за собой: три раза в неделю изнуряю себя спортом под придирчивым надзором персонального тренера, регулярные маникюр и эпиляция, массаж, косметолог. И, разумеется, депрессия. Об этом никто не рассказывает, но отчаяние и успешность частенько идут рука об руку. Чем более благополучным кажется человек – тем большая бездна неуверенности в себе и безысходности таится под его сияющей оболочкой. Такое вот «логичное» комбо.

В самолете где-то надрывно кричал младенец, уставшие от полета дети шумно бегали по проходу. Черт вас всех подери! Я стала задыхаться, сделалось нестерпимо душно. Куда лечу? Зачем? Ведь можно было сослаться на срочную работу, да мало ли на что. Я никому там не нужна – она уже умерла!

Стюардессы улыбались, носили еду, предлагали вино. Я ничего не хотела. Старалась следить за дыханием: глубокий вдох – медленный выдох. Это всего лишь паническая атака, Лиза, с тобой ничего не случится, нужно только дышать. Дыши – и скоро все закончится. Я стала судорожно листать журналы, пытаюсь хоть как-то отвлечься. Счастливые улыбающиеся люди, наслаждающиеся жизнью, белоснежный песок, безупречно сидящая одежда. И дети. Снова дети. Девочка, похожая на Софию. Не думай сейчас про Софию, дыши, нужно дышать. Глубокий вдох.

Мята! Конечно же. Я достала из сумочки пакетик мятного чая, который всегда носила с собой, и попросила заварить его. Этот запах почему-то всегда успокаивал меня. Не знаю почему – какая-то магия. Джон всегда смеялся над этим. Джон...

Самолет стал заходить на посадку в Шереметьево, показались огни расплывающегося во все стороны чужого города, комка энергии, готового поглотить меня. Города, где меня больше никто не ждал.

Я приезжала к ней всего раз, в далеком детстве. Тем летом Маша в очередной раз выходила замуж. Маша – моя мать, я всегда называла ее по имени – ей так нравилось. Мне было, кажется, лет десять – «совок» только что развалился. Мы тогда жили в Тель-Авиве. Машин будущий муж предложил ей провести медовый месяц где-то в Италии, а я, разумеется, в эти планы не входила – у нас с будущим отчимом что-то не складывалось. Впрочем, и с Машей у них не сложилось – он не продержался и пары лет.

Помню, меня удивило, когда Маша заговорила о Москве – она никогда не стремилась на родину и не любила о ней говорить. Маша была безалаберной матерью – мне часто приходилось заботиться о себе самой, особенно когда она не ночевала по несколько дней дома. Ей проще было бы оставить меня одну или спихнуть на кого-то из подруг, но Маша почему-то приняла решение отвезти меня к бабушке. К Ба, как я вскоре стала называть ее.

Помню, как при встрече Ба крепко прижала меня к себе. Мне стало неловко. Я не привыкла к объятиям, особенно чужого человека. Я представляла ее седой старухой с клюкой, а она оказалась худощавой и довольно-таки красивой женщиной. Маша почти не разговаривала с Ба – обменялись новостями про общих знакомых, что да как изменилось в Москве. Говорила в основном Ба, а Маша напряженно молчала, хотя я знала ее всегда веселой, любящей болтать, петь с гостями – этаким фонтанирующей энергией дивой, по-другому и не скажешь. А вот рядом с Ба Маша была совсем другой. Неузнаваемой.

Сели обедать. Ба что-то говорила, вспоминала о приятелях, одноклассниках Маши, спрашивала что-то у меня. А я сидела как окаменелая, ожидая неотвратимого момента, когда Маша уедет. Я боялась Ба – не зря же Маша ее недолюбливала, что-то же произошло между ними?

Маша, не закончив обедать, схватила телефон – и вот уже красила губы в коридоре: приду поздно, не ждите. Я стала умолять: «Можно мне, пожалуйста, с тобой? Пож-а-а-алуй-ста!» Но Маша небрежно пожала плечами: «Тебе там будет неинтересно – взрослая компания» – и захлопнула дверь. Очередную дверь перед моим носом. Мне бы привыкнуть, но тогда я все еще по-детски надеялась на чудо. Она вернулась, как и обещала, очень поздно, под утро, и в тот же день улетела обратно, выходить замуж. Виноватые глаза – и улыбка, но уже в такси.

А Ба, как выяснилось, спланировала походы по музеям, парки, развлечения. Она говорила и говорила, воодушевленная, словно не замечая моего молчания. Или, может быть, действительно не замечала?

Ей было любопытно все: и как я учусь, и как зовут моих подружек, и что мне нравится делать. Я никогда не чувствовала к себе такого интереса со стороны взрослого, и меня провело – я заговорила. Ба серьезно выслушивала все мои рассуждения, жалобы, размышления о школе, пересказы моих ночных кошмаров, ссор с подружками. Узнав, что я люблю рисовать, Ба потащила меня в магазин для художников, где накупила мне кучу всего: коробочек пастели, наборов карандашей, кисточек и акварельных красок. Сейчас я понимаю, что все это тогда стоило целое состояние, но Ба не скупилась. Она восхищалась мной, считала, что у меня настоящий талант.

Каждое утро Ба пекла мне блины (чего никогда не делала Маша, любившая поспать), лепила вареники или пельмени на обед, варила самый вкусный на свете борщ. А на мой день рождения (Маша забыла, кстати, меня поздравить) испекла «Наполеон».

Ба терпеливо учила меня точить карандаши, пришивать пуговицы, делать маникюр, правильно причесывать волосы, чистить зубы – выяснилось, что я ничего этого толком не умела. Все делала тяп-ляп, как беспризорница. Я удивилась: почему же Маша не привозила меня к ней раньше? Но Ба пожалала плечами. Я была слишком мала, чтобы спросить: «Что между вами произошло?» Хотя не уверена, что получила бы честный ответ...

Я хорошо говорила по-русски, ведь Маша крутилась в среде русскоязычных эмигрантов, да и моими друзьями были сплошь дети выходцев из СССР. Но читала я все-таки плохо, и словарного запаса мне недоставало – да и откуда ему было взяться. Ба мгновенно подобрала «соответствующую моему развитию литературу», каждый день заставляла читать не менее двадцати страниц и пересказывать содержание. Именно благодаря Ба я сегодня по-настоящему хорошо знаю русский язык, и ей я обязана несколькими карьерными повышениями.

Мне было так хорошо в Москве, что я стала размышлять: зачем возвращаться в Тель-Авив, к Маше, которой я, очевидно, не нужна, если есть Ба, которая меня обожает и так заботится?

Маша вернулась за мной через месяц. Прибыв после встречи с кем-то из своих обогатившихся бандитов-одноклассников подшофе, она паковала в свой клетчатый тряпичный чемодан московские сувениры и щебетала о своем счастливом медовом месяце на Капри. Я помню, что она была незагоревшей, совсем бледной. И мне подумалось, что Маша со своим новым мужем наверняка круглосуточно занималась сексом и не видела никакой Италии, все она привирает. Да, я тогда уже знала о сексе – как не знать при таком количестве Машиных любовников.

Набравшись смелости, я промямлила: «Можно мне остаться с Ба?» Я была уверена, что Маша задохнется от счастья и, конечно же, согласится – ведь она постоянно ныла всем подряд, как ей со мной тяжело (со мной-то? – возмущаюсь я спустя годы, но тогда безоговорочно верила, что была самым ужасным ребенком на свете). Помню, мой вопрос поразил Машу – вскочила, швырнула что-то в чемодан и стала буквально верещать. Что я думаю только о себе, а бабушке вообще-то нужно работать и заниматься собой, а не неблагодарными соплячками, которые ничего не понимают. Что-то в этом роде, я уже не помню дословно. Бросила вещи неупакованными и снова умчалась куда-то, громко хлопнув дверью. Даже губы в тот раз не накрасила.

Машина реакция, такая неожиданная и странная, меня ошеломила. Но я решила все-таки не сдаваться и спросить Ба. Конечно, я должна была сначала пойти к ней, а потом уже договариваться с Машей. Это сейчас, проработав много лет в корпорации, понимаю такие вещи. А тогда, ребенком, была абсолютно, непоколебимо уверена, что и обсуждать нечего: Ба будет только счастлива, если я останусь. И мы с ней ка-а-к заживем! Но и здесь я промахнулась. Ба грустно покачала головой и ответила, что, конечно же, Маша права – в Израиле мне будет лучше и что остаться никак нельзя. Я не могла поверить. Эти слова, несмотря на печаль, которая прозвучала в них, стали для меня ударом. Предательством. Словно Ба сделала мне доро-

гой подарок, а потом цинично отняла его у меня. Не знаю, словно вручила мне щенка на день рождения и на моих же глазах задушила его. Такое я почувствовала разочарование и горе.

Был аэропорт, слезы. Плакала я, плакала Ба. Маша, накачавшись коньяком, молча кричилась и смотрела на часы.

Почему мы с Ба не общались после? Сложно сказать... Мне ведь было всего десять – что я понимала? Сейчас, на взрослую голову, мне кажется, дело было в Маше – я стала ее сообщницей в неприязни к Ба. Когда что-то было не так, Маша шутила: «Отправлю в Москву – вот там тебе покажут, где раки зимуют!» И смеялась. Я смеялась в ответ лишь затем, чтобы понравиться Маше. Чтобы завоевать наконец ее постоянно ускользающую любовь.

Москва. Современный аэропорт. Совсем не тот, серый, советский, откуда мы с Машей улетаем тем летом. Ба с красными от слез глазами провожала нас. Как оказалось – навсегда.

Усталые, безразличные лица таможенников и, наоборот, радостные – встречающих. Вспомнился Трентиньян в «Мужчине и женщине». Скорость, озарение, страсть. А может, все сон – и Джон ждет меня там, среди стоящих с табличками и цветами? Улыбнется, обнимет, мы поговорим. Найдем решение. И все станет как прежде. Конечно, нет. Дура. Какая же я дура.

С облегчением выбралась из толпы встречающих, табличек, зазывал и устало упала в такси:

– «Мариотт» на Арбате.

Я ведь иногда бывала в Москве, приезжала в командировки, но никогда не звонила Ба: Лиза, в Москве у тебя всегда все расписано по минутам – бизнес-партнеры, бизнес-прогулки по центру, аперитивы. А Ленинский проспект, где живет Ба, – так далеко и неудобно, аж за пределами Садового кольца. И если совсем честно, меня так и не покинуло то детское чувство, что меня предали. Ба меня предала.

Думала ли я о Ба? Нечасто. После той поездки в Москву Ба звонила мне раз в месяц. Разговоры были натужными. Да и Маша театрально фыркала, когда я говорила с Ба, и уходила в другую комнату, откуда, я точно знала, подслушивала меня. Постепенно Ба перестала звонить. Я отправляла Ба стандартную открытку на Новый год. Ба поздравляла меня с днем рождения. Помню, на каком-то обеде Маша мимоходом упомянула: «Мать сама справляется. На здоровье не жалуется. Если что-то будет нужно – нам позвонят мои друзья».

Мы договорились переводить деньги на счет. Я, если честно, выдохнула с облегчением, ведь Ба неизменно приписывала «чувствую себя хорошо», «не болею» и «ничего не нужно, пенсия большая». Хотя я все равно продолжала присылать деньги, но чувство вины нет-нет да покусывало меня: Ба ведь тебя все-таки любила, а ты... Последние годы она жила с сиделкой, Маша сообщила мне об этом по электронной почте, – я увеличила переводы, вот, собственно, и все.

Джон появился в моей жизни восемь лет назад. Он не задавал болезненных вопросов и во всем поддерживал. С ним я перестала чувствовать себя одинокой. Мое беспризорное, никому не нужное существование наконец закончилось.

Джон... Случайная встреча в агентстве – он заказывал разработку нового бренда, а я уже тогда была креативным директором. Что-то в нем меня зацепило. Сложно объяснить, но я почему-то сразу почувствовала в нем родственную душу, хотя он ничего особенного не делал и не говорил. Словно мы давно знали друг друга. А может, дело в том, что Джон был полной противоположностью моего мужа. Да, я была замужем. Целых два странных года, когда я была несчастлива, объясняя все усталостью и стрессом. Чем угодно, но только не неправильным, случайным мужчиной в моей жизни.

Джон не пытался казаться лучше, чем был, произвести впечатление. Мы встретились в агентстве еще раз. И еще раз – выпить кофе – уже просто так, после работы: обсудить дальнейшие бизнес-планы. Разговоры обо всем и ни о чем. Было уже за полночь, мы говорили,

говорили и никак не могли расстаться. Что-то между нами нарастало. Что-то неуловимое. То, чему мы, как показала жизнь, не смогли противостоять.

Однажды, это произошло через несколько месяцев после нашего знакомства, мы случайно оказались в одном ресторане. Я была со своим мужем, а Джон праздновал там свой день рождения. Я уже поздравила его утром – написала огромное сообщение как можно нейтральнее, – хотя между нами сильно искрило, мы по-прежнему оставались в статусе коллег и не очень близких друзей. Джон приблизился к нашему столику, поздоровался, я познакомилась с мужем и тут же, не выдержав ради приличия паузы, сбежала в туалетную комнату – мне было невыносимо находиться с ними обоими в одном пространстве. Включила воду и смотрела на себя в зеркало, опершись обеими руками о раковину. Мне было плохо. Я ненавидела себя за слабость и навязчивые мысли о Джоне. Говорила себе: дыши, Лиза, дыши, это пройдет, потерпи... Тогда мне еще казалось, что это временно, просто болезнь, которую надо переждать. В этот момент вошел Джон и мягко обнял меня за плечи. Я обернулась и неожиданно для себя поцеловала его. Не знаю, что на меня нашло. Чувства, которые скопились во мне, диктовали, что делать. Мы стояли и целовались, не думая о том, что кто-то мог войти и увидеть нас. Я никогда не изменяла мужу, высокомерно считая, что измены – для людей легкомысленных и слабых, которые слишком зациклены на сексе или которым нечем заняться. Но с тем поцелуем вдруг куда-то испарились, исчезли вопросы морали и табу. Где-то далеко едва заметной строчкой пронеслось «так нельзя», «ты замужем, давала клятву», «это непорочно, пошло, стыдно». Но я на удивление легко, без тени сомнений, отмахнулась от всего, что казалось таким очевидным. Происходящее между мной и Джоном мне показалось единственно правильным и честным.

Я прошептала Джону «с днем рождения», и он еще крепче прижал меня к себе. Я почувствовала облегчение, словно что-то переключилось во мне. Словно я снова разрешила себе жить.

На следующий день собрала вещи и ушла. Нет, не к Джону. Пожила у друзей, сняла квартиру на улице Аркад, возле площади Мадлен. Начала обставлять ее – диван, рабочий стол, этажерка для книг. И вдруг поняла, что мне стало легче: без всяких антидепрессантов вернулась радость. Я ходила по магазинам, выбирала тарелки – и улыбалась. Покупала новое одеяло – и получала удовольствие. Завела цветы в горшках, хотя никогда не была «хозяйшккой». Мне было важно все сделать самой. Одной. Мне не нужны были новые отношения так скоро, потому что я сомневалась: действительно ли мои чувства к Джону настоящие или это просто повод уйти от нелюбимого мужчины?

Мы по-прежнему переписывались с Джоном, он узнал о том, что я ушла от мужа, предлагал встретиться, но я не торопилась.

Прошел месяц. Время еле тянулось. Я поняла, что откладывать нашу встречу бессмысленно: постоянно думала о Джоне, вновь и вновь перечитывала нашу переписку, рассматривала его фотографии в соцсетях, вспоминала наши разговоры, поцелуй. Это превратилось в навязание, которое мешало мне жить. Не могла спать, не могла сосредоточиться на работе. Все время представляла Джона, видела его в каждом встречном. Что-то неуловимое произошло со мной – мужчины при виде меня оборачивались на улице, делали комплименты, звали на свидание. Но я могла думать только о Джоне. Тогда я решила: «Пусть разочаруюсь в нем, пусть этот дурман наконец пропадет и я стану свободной». Загадала: «Пусть у него будут шторы в цветочек, пошлые меховые тапочки, крошки на столе – что угодно – и все закончится, я вернусь к своей обычной жизни».

Был летний вечер. Начиналась гроза. Я ехала к Джону по безмятежному солнечному городу, а передо мной на фоне темного неба раскинулась радуга, засверкали молнии на фоне почти чернильных туч. Я вот-вот должна была въехать в грозовой фронт, в потоки стреми-

тельной безудержной воды, готовые поглотить меня. Странно, но природа полностью отразила то, что вот-вот должно было случиться между нами.

Я слушала по радио «Prends garde, sous mon sein la grenade...»¹ Я понимала, что это совсем не романтическая песня, скорее наоборот. Но именно так я тогда чувствовала: граната под моей грудью, готовая вот-вот разорваться.

Джон встретил меня под ливнем жалкий и мокрый – полчаса ждал у дома и не вернулся за зонтиком, потому что боялся пропустить меня.

Мы поднялись в его квартиру на маленьком лифте. Таком маленьком, что мне пришлось прижаться к стенке, чтобы случайно не дотронуться до Джона. Мое тело вибрировало. Одно прикосновение – и пути назад не будет.

Не было ни штор в цветочек, ни меховых тапочек, ни крошек на столе... Мы разговаривали о разных глупостях, и это было очень естественно, словно мы давно, много лет, были близки. Или в прошлой жизни были любовниками? Мы расположились на его диване в гостиной, наши тела почти касались друг друга. Перебирали книги, что-то обсуждали. Мне захотелось провести так всю ночь. Всю жизнь, бесконечность – кто знает? Вот так, не двигаясь, ощущая близкое тепло его тела. Потом мы курили одну сигарету на двоих. Я смотрела на его губы, на то, как он задумчиво выдыхает дым, и вспоминала наш поцелуй. Спешить было незачем. Джон по-прежнему сидел на диване, я положила ему подушку на колени, легла на нее, словно я у психотерапевта, и стала рассказывать смешную историю. Это было непринужденно, словно повторялось уже в тысячный раз. Мне было легко с ним. Мой голос дрогнул. Я сказала: «Обними меня». И он обнял. Его рука показалась мне родной. «Своей». Мне не было непривычно или неловко. Я не открывала для себя Джона – я уже откуда-то знала его. Родилась, создалась для него с этим знанием. Все это время я лежала у него на коленях, рассказывала глупости, мы смеялись. Я гладила его ладонь, изучала его кожу. Наши пальцы переплелись – и все стало понятно. В одно мгновение. В тот же вечер мы занимались сексом. И наш первый раз был прекрасен, безупречен. Мы оба безошибочно угадывали, чувствовали, как надо. Мы открывали друг друга не торопясь, не опасаясь, что этот момент исчезнет. Наша близость, наши отношения сделались неотвратимыми. Джон стал моим кислородом, моей зависимостью, моим всем.

Прошел год. Лучший год в моей жизни. Мы с Джоном не расставались. И вот уже выбор кольца, дизайн нашей квартиры в Шестнадцатом округе Парижа. «Как ты считаешь, стены покрасим бежевым или бледно-серым?» И тогда же я сказала ему, что вторая спальня будет кабинетом или комнатой для гостей, но никогда – детской.

«Зачем нам дети? – убеждала я Джона. – Я – зацикленная на себе карьеристка, и это диагноз». Но про себя думала: никогда не смогу стать нормальной матерью – не дано, не те гены. Мой ребенок никогда не получит настоящей материнской любви, потому что я сама не испытала, что это такое. Джон промолчал. Это был наш единственный разговор о детях. Пока не появилась София.

Такси затормозило возле «Мариотта». Широкий проспект, яркие огни – я совсем забыла, что Москва такая. Никогда не спящая, деятельная 24/7. Бритоголовый водитель в черном костюме открыл дверцу, выгрузил мой чемодан и улыбнулся на прощание:

– Надеюсь, вам здесь понравится.

«Конечно, понравится, – чуть не сказала я, – обожаю похороны».

Шикарный отель, просторный номер с видом на Арбат. Совсем не шумно.

– Шампанского?

– Нет, все-таки не по такому поводу!

¹ «Берегись, под моей грудью граната».

– Доброй ночи!

– И вам.

Наконец одна. Нет, опять одна. Здесь слишком тихо. Я села на кровать и начала жалеть о том, что приехала. Слишком импульсивно, нетипично для меня. Улетела, даже не заглянув в рабочий календарь.

День выдался ужасный. Я слишком устала – хотелось лечь спать и пробудиться где-нибудь через неделю... А еще лучше не просыпаться никогда. Открыла чемодан, достала полупрозрачную сорочку на бретельках. Нет, это не одежда для сна, а униформа для секса. После встречи с Джоном у меня только такие. Рядом с ним я хотела быть красивой, молодой и веселой. Беспроблемной и оптимистичной. Шелк неприятно холодил – я озябла. Закуталась в махровый отельный халат и забралась под пухлое одеяло. Что я стану делать, когда вернусь? Одна в нашей холодной квартире, где все будет напоминать о Джоне, о его смехе, о горячих ароматных круасанах, которые он приносил по утрам? Нам было хорошо вместе. И больше никогда не будет...

Остановись, Лиза. Вспомни – ты здесь из-за Ба. Я включила телевизор. Какие-то шоу, веселье, новости. Все не то. Везде не то. Прежде всего в моей жизни.

Утром я позвонила и узнала, что похороны, оказывается, состоятся только завтра. Маша тоже прилетела и, что удивительно и неожиданно, уже взяла все заботы на себя, а мне лишь нужно поехать в квартиру на Ленинском, которую Ба завещала почему-то именно мне.

– Простая формальность, – уверил голос по телефону, – можно просто взять ключи и даже не заходить туда, если вам не хочется.

– «Да, мне не хочется», – внутренне согласилась я и тут же соврала этому голосу:

– Нет, что вы – это же моя бабушка.

Пока собиралась, в голову пришла крамольная мысль: интересно, что хуже – похороны Ба или встреча с Машей? Странно, что после стольких лет, что мы не виделись с Машей, у меня все еще так сильно болело. Ни похорон, ни встречи мне не хотелось, и я стала произвольно прокручивать малодушные варианты, на которые, я знала заранее, никогда не решусь: например, проспять, заболеть, срочно улететь обратно в Париж...

Мне всегда казалось, что Машино детство, в отличие от моего, было беззаботным и хорошо обустроенным. Счастливым. Из ее кратких рассказов становилось понятно, что Маша ни в чем не нуждалась, всегда была одета с иголки – и это сразу-то после войны. Ба носилась с ней, как мне и не снилось. Хорошая московская школа. Балет. Блестящие преподаватели. Все это Маша бросила, как и многочисленное остальное, что без усилий возникало в ее жизни после. Маша была чемпионом по начинанию всевозможных дел, которые она оставляла дай бог на середине. Удивительно, как это мне удалось появиться на свет. Я, пожалуй, единственное ее доведенное до конца дело.

После школы Маша кое-как поступила в институт (а может, Ба ее пристроила. Так мне показалось из намеков Машиных друзей). Конечно, ее отчислили. Где-то подрабатывала и, как только появилась возможность, выскочила замуж и эмигрировала в Израиль. Уже через год Маша развелась в первый раз. Больше я толком ничего не знала ни о ее жизни в Москве, ни о ее первом замужестве. Я – единственный поздний ребенок от, по-моему, третьего брака (отца с тех пор и след простыл – и я его где-то даже понимаю).

Маша так и не узнала о Джоне. Мы с ней уже лет десять не разговариваем.

Это случилось в разгар праздничного ужина в честь моего дня рождения. Маша постучала вилкой по бокалу, встала и вдохновенно просветила моих друзей и коллег, какой она была чудесной матерью и каким ужасным ребенком была я. Как многим я ей обязана. Она, смеясь, вещала про испорченные мной сгоревшие кастрюли, про разбитые тарелки, про мой нелепый вечно непричесанный вид, про позорную балетную пачку, которую я сама себе смастерила. Все хохотали над ее историями – Маша была мастерица рассказывать. Я же говорила – дива. Никто

и не понял, что все это были промахи предоставленного самому себе ребенка, о котором никто не заботился и который просто пытался выжить. Под конец Маша пожелала мне однажды стать прекрасной матерью и, подмигнув, припечатала: «ведь яйцеклетки не вечны, Лизок».

Та речь стала для меня последней каплей в наших непростых односторонних отношениях, где Маша бесконечно говорила только о себе, а я без устали пыталась ее перекричать: «Посмотри на меня! Я здесь! Я тоже существую!» Что-то зачем-то доказывала ей: «Вот какую шикарную квартиру я купила – похвали меня. Меня повысили – скажи хоть что-нибудь!»

Мне кажется иногда, что все, что я в жизни делала, было для того, чтобы обратить на себя внимание Маши.

Так или иначе, теперь я способна говорить о Маше только в прошедшем времени – в кабинете моего психоаналитика. Больше я никогда и нигде не упоминаю, что у меня вообще есть мать. Может, это покажется жестоким, но для меня это единственная возможность не впадать в отчаяние.

Избавившись от морока, в который меня всегда вводят воспоминания о Маше, я вызвала такси и уже в дороге почувствовала, что проголодалась. Напрочь забыла о завтраке – слишком разволновалась с утра, а теперь желудок сводило. Надо было хотя бы перекусить, но, с другой стороны, хотелось поскорее разделаться с этим простым, казалось бы, делом: взять ключи. Больше сегодня можно ни о чем не думать – утешала себя я. Маленькое, ни к чему не обязывающее действие. Приехать, встретиться с человеком, которого я никогда не увижу снова. Можно даже не отпускать такси. Сразу же отправиться на прогулку в Парк Горького, найти кафе, побродить по набережной. Все, что угодно, лишь бы не думать ни о Ба, ни о Джоне, ни о Маше, ни о Софии. Вообще ни о ком.

Как быть с квартирой, я не знала. Я вообще ничего не понимала в том, что делают в таких случаях. Нужно ехать к нотариусу и что-то оформлять? А потом? Продать как можно скорее? Но, как ни крути, все равно волокита – риелтор, бумаги, так или иначе придется возвращаться в Москву... Или может, бросить как есть, улететь и даже не вспоминать? Но и это не было выходом – вся моя бизнес-сущность противилась такому решению: а документы? А счета? А налоги? Я решила, что не буду об этом думать, по крайней мере сегодня.

И все же, чего, интересно, хотелось бы Ба? Мне подумалось, что, только побывав там, смогу принять правильное решение.

Сидя в такси, я пыталась вспомнить, какой же все-таки была Ба? Заботливой. Очень внимательной ко мне. Сейчас мой психолог, наверное, определил бы это как гиперопеку. Но что за этим стояло на самом деле? Только ли одиночество? И что было лучше для меня тогда? Гиперопека со стороны Ба или Машино равнодушие? Поздно, поздно рассуждать, Лиза...

Вспомнила свои десять лет, лето в Москве, бесприютное детство – и стало жалко себя. Подумала: как ужасно, что рядом нет Джона. Ведь он обещал быть со мной и в горе, и в радости. У меня горе – и я совсем одна в чужой стране, никому не нужная. Я здесь из-за придуманного чувства долга, которого даже не ощущаю, если честно. Что я вообще здесь делаю? Черт, Джон, – это несправедливо!

Я осеклась: несправедливо и то, что ты, Лиза, тоже оказалась неготовой помогать другим в их горе. Не такая уж ты идеальная! Что бы ты из себя ни строила – твоя изнанка сплошь прогнившая. И теперь не только ты об этом знаешь. Голос в моей голове слабо возразил: нет, все не так – я старалась. Я сделала все, что могла, и даже больше.

И все же прошло уже несколько месяцев, но чувства вины и стыда никак не отпускают меня, не уходят, не превращаются в воспоминания, не притупляются. И наверное, так теперь будет всегда – до конца моей жизни я буду знать, что не справилась. Что предала. Что я сука.

История началась чуть больше года назад, когда умер Том, отец Джона. Тогда я сделала все возможное и невозможное, чтобы поддержать Джона, – здесь мне не в чем себя упрекнуть.

Ездила с ним в больницу, когда стало очевидно, что дела плохи. Когда Тома не стало, взяла несколько дней на работе, чтобы побыть с Джоном. Следила за тем, чтобы он вовремя ел, достаточно спал. Ввалила на себя все заботы по организации похорон (при наличии обеих жен Тома, бывшей и нынешней, в добром здравии).

Там, на похоронах, я впервые встретила мачеху Джона.

В самом начале наших отношений мы договорились с Джоном никогда не обсуждать наших родственников. Для обоих эта тема была болезненной. Никто из нас не хотел ковыряться в болячках друг друга.

Ахиллесовой пятой Джона был отец: Том на старости лет решил жениться на молоденькой маникюрше. Подробностей я не знала, догадывалась только, что развод был кровавым, потому что с «изменником» никто, кроме Джона, не общался. Даже на нашей свадьбе отец и мать Джона «не замечали» друг друга.

«Маникюрша», как мы втихую называли ее, помахала нам издалека как ни в чем не бывало, будто это были не похороны Тома, а какая-нибудь вечеринка, и подвела к нам белокурую девочку лет десяти. Я догадалась, что это сводная младшая сестра Джона, София.

Испуганная, потерянная. Маникюрша, не обращая на нее внимания, затараторила:

– Ну это... Привет, Джонни и... ах, да, ну... Лиза. Ну, пора нам наконец ну это... как следует познакомиться. При жизни твоего отца, Джонни, ну... пусть земля ему будет пухом, как говорится, мы не общались. Том-то удивлялся: ну зачем вам знакомиться? Ну это... ты же знаешь, Том с твоей матерью так себе расстались. Это ... ну... она была против, не иначе... Ну а раз так, теперь... Короче... То и вот, дружок, ну... сестра твоя. Правда, ха... вылитый папочка?

Мне стало жалко девочку с заплаканными глазами. Всего десять лет, а уже потеряла отца. И мать такая у нее – нет слов – подумала я с сочувствием. Что-то в Софии отдаленно напомнило мне саму себя. Я узнала затравленный взгляд, жалкую полуулыбку, одежду не по возрасту, неподходящую для печального повода, но быстро отогнала эту мысль – мне было совсем не до девочки. Потом мы с Джоном, конечно, повздыхали, обсудили, как нам жаль Софию, но быстро оставили разговоры о ней – Джон переживал смерть отца, а я вернулась к работе и ежедневной рутине. А еще мне хотелось организовать путешествие, которое отвлекло бы нас от пережитого. Мне грезились пальмы и белоснежный песок Сен-Барта. Солнцезащитный крем и соломенная широкополая шляпа. Коктейли и закатное солнце. Комфорт, к которому мы привыкли.

Но нашим планам не суждено было сбыться – через месяц Джону позвонила социальная служба. Маникюрша оказалась алкоголичкой. Это стало для нас сюрпризом – Том никогда не говорил, что у него проблемы в новой семье. Нам рассказали, что и до смерти мужа маникюрша потихоньку попивала, а после совсем слетела с катушек. В тот день, когда она напилась и в очередной раз забыла забрать Софию из школы, вскрылось истинное положение дел. Софию спросили, кто у нее еще есть из родственников, и она назвала Джона.

Джон стал часто разговаривать с кем-то по телефону, куда-то ездить. А я... Я была слишком увлечена своей работой. Не замечала, что Джон сильно отдалился, вставал ночью и одиноко курил на кухне – утром я механически смахивала десяток окурков из пепельницы и продолжала выжимать свой апельсиновый сок. Теперь я себя за это презираю. Тогда же была уверена, что Джон переживает из-за смерти отца, и легкомысленно планировала наш долгожданный отпуск, не замечая очевидного, не потрудившись спросить, что происходит.

Однажды я вернулась с работы, Джон уже ждал меня дома. Он сам приготовил ужин – ягненка – и откупорил дорогое вино. Настроение у него было отличное, и я обрадовалась: наконец-то он снова стал самим собой. Мой Джон вернулся. Мы болтали, как это было прежде. Когда дошли до десерта, Джон загадочно улыбнулся и объявил, что у него для меня важная новость. И нет, дело касается не бизнеса, как я подумала: он решил получить опеку над Софией. Дальше было много слов: это его долг, по-другому он не может. Он поступил так,

потому что уверен: я не могу быть против. Он говорил так искренне, так убежденно, что у меня не хватило духу возразить. Слова витали над столом, я молча кивала и даже, кажется, улыбалась. Я жутко испугалась, что потеряю его. Сидела и думала: все что угодно, только люби меня, продолжай меня любить. В конце Джон добавил, что хочет, чтобы София жила с нами, буквально как наша дочь, учитывая их разницу в возрасте. После слова «дочь» меня накрыло окончательно. Дело было, конечно, не в девочке, которую я видела всего один раз, а именно в этом слове. Таким коротком, но таком болезненном для меня. Дочь. Я почувствовала себя в ловушке: из любви к Джону я должна была в одночасье стать матерью чужого ребенка. Перед глазами мгновенно пронеслись сцены моего потерянного бесприютного детства. Где я – никому не нужная дочь, а Маша – безразличная мать. Слова «дочь» и «мать» означали для меня боль и ничего другого. Став взрослой, я обходила стороной детские площадки, игнорировала все праздники с шарами и клоунами, куда меня зазывали друзья и коллеги. Я не завидовала. Мне было больно. Мучительно даже видеть детей. И вот Джон произнес «дочь». Мне показалось, что на меня рухнул по меньшей мере шкаф. Нас было двое. Мы были счастливы. Мы обо всем, как мне казалось, договорились и больше не обсуждали детей. Я храбро сражалась с демонами из детства и не спускала их на Джона. Мой хрупкий мир виделся мне таким стабильным. Но все изменилось за одну секунду. Джон так решил. Решил, не спросив меня.

Я не знала, что делать. Запаниковала, но сказала... «да». Конечно, да. Ради Джона. Не посмела произнести даже шепотом «я не могу». Тогда бы он спросил «почему», и мне пришлось бы объяснять, рассказывать про себя и Машу, а это было выше моих сил. Джон, мой идеальный Джон, ничего не должен был знать о той части моей жизни. Она пройдена и забыта. Я смогла выжить и стать другой: успешной, умеющей наслаждаться жизнью. Именно такой меня и полюбил Джон.

В тот день я не могла себе представить, что хрупкая маленькая девочка способна разрушить наш брак.

Вскоре София появилась у нас в доме. Все произошло очень быстро. Слишком быстро. Джон убеждал меня, что каждый день, который она проводит не с нами, а в неблагоприятной обстановке, будет вычеркнут из ее жизни. Что мы должны бороться за каждое мгновение ее счастливого детства. Я молчала и ни разу не обмолвилась о своих страхах, которые буквально пожирали меня: я не справлюсь, я не готова и не хочу становиться матерью, я, черт возьми, боюсь этого чужого ребенка!

София выглядела ласковой и нежной девочкой. Не было заметно, что она только что потеряла отца, что ей пришлось разлучиться с матерью. Сразу же, с первых дней она обнимала меня своими худенькими ручками и восхищалась мной: «Привет, Лиза! Какая же ты красивая! Когда вырасту, хочу стать такой же, как ты!» Я улыбалась, но с трудом боролась с раздражением. Она была чужой. Ее запах был запахом чужого человека, пусть и ребенка. София была всюду: следы апельсинового сока на столе, шоколадные отпечатки на обивке кресел, крошки от печенья на ковре. И игрушки, всюду игрушки, которыми ее заваливал Джон. Дело было не в вещах, конечно, – плевать на них, а в небрежности, с которой София относилась и к нам, и к заведенным нами порядкам. Она слушала, мило улыбалась, но продолжала сеять хаос везде, где ни появлялась. Я говорила себе: это адаптация, девочке нужно время, но сердце мое тревожно ныло от предчувствия, что никакое время ничего не решит, что я никогда не смогу ее принять.

Но Джон был счастлив. Он светился, когда София брала его за руку по пути в школу, когда они сидели рядом на диване и смеялись над какими-то комиксами. Она восхищалась им: «У тебя есть на меня время? Тебе правда не скучно?» Он говорил мне, что, засыпая, она бормотала: «Спасибо-спасибо-спасибо, Джон. Ты самый лучший в мире!»

Мы пытались жить так, как, по нашему представлению, должны жить счастливые семьи: катались на каруселях, смотрели детские фильмы, уплетали мороженое. Джон радовался, словно вернулся в детство. И для меня это было главным.

Я изо всех сил подыгрывала им, но мое сердце, мое тело сопротивлялись. Сомнения и чувство вины сводили меня с ума, и я ничего не могла с этим поделать. Я не могла открыться Джону.

Однажды, еще в самом начале, я отвезла Софию в «Галери де Лафайет» и накупила ей кучу новой одежды, о которой только могла мечтать в своем детстве: платьица в цветочек, плиссированные юбочки, мягкие пастельных тонов свитерочки, лакированные туфельки, розовый с крылатыми единорогами рюкзак. Все только лучшее – я не скупилась для девочки. На самом деле, конечно, для Джона – он должен был увидеть, как сильно я стараюсь. И это было искренне. Я все еще надеялась, что однажды во мне что-то перещелкнет и я смогу принять Софию.

Уже на выходе нам попался игрушечный белый пушистый кролик с розовым носиком-сердечком. Всех его собратьев расхватили, а он сучал, одинокий, на стойке, свесив ушки. Что-то трогательное было в нем, и я не смогла пройти мимо: «Смотри, какой милый кролик! Он хочет, чтобы ты его обняла и любила всегда-всегда». София тут же обвила его своими худенькими ручонками и спросила меня: «А ты тоже будешь любить меня всегда-всегда?» И я, улыбнувшись, соврала ей: «Конечно, да!»

С этого кролика все и началось. Вернее, кролик озаменовал начало конца.

Однажды София пришла из школы не в духе. Что-то было не так. За ужином (а теперь мы с Джоном старались не задерживаться на работе – договорились больше времени проводить вместе) мы стали расспрашивать ее. София ковырялась в тарелке, дулась, долго молчала, а потом призналась: дело в телефоне, который подарили ее новой школьной подружке на день рождения. Я сказала: «Подарки – это здорово, особенно в день рождения, но у тебя уже есть телефон, да и твой день рождения еще не наступил». Но ей хотелось лучшего, последней модели, и прямо сейчас. Она проговорила все это капризным, незнакомым тоном. Словно это была другая девочка. Это испугало меня. Тем не менее мы оба безоговорочно ответили «нет».

В тот же вечер я нашла у нас в постели плюшевого кролика с распоротым брюшком.

Ни я, ни Джон не оказались готовы к тому, что было дальше. Да, мы читали про приемное родительство. Но нам казалось, что это не про нас, ведь София – особенная.

Не хочется и вспоминать... Истерики, украденные из кошелька деньги, порезанные вещи – мои и Джона, початые бутылки виски в баре, и, наконец, София сбежала. Мы вызвали полицию и искали ее два дня, пока не нашли в соседском гараже, куда она отнесла спальный мешок, предварительно запасшись едой. София методично, день за днем, изводила нас. Это длилось месяцами. Ангелочек превратился в демона. Конечно, были примирения, проблески надежды, снова срывы. Постепенно каждый совместный ужин и выходные превратились в пытку – и я стала задерживаться на работе. Джон ходил с вымученной улыбкой и говорил мне: «Все наладится, вот увидишь – это временно, она привыкнет». А я молчала в ответ, хотя мне хотелось ответить: «Я так и знала! Я чувствовала! Ей не удалось обмануть меня!»

Джон искал помощи у психологов: «Спасите! Давайте все починим как можно скорее – и пусть все станет так, как прежде». Мы ходили на эти встречи, где нам рассказывали, как София страдает, говорили о терпении, о сочувствии. О ее травме. Оказалось, что маникюрша сообщила ей точную дату, когда вернется за ней, и приказала не привыкать к нам. София очень скучала по матери, но, боясь расстроить нас, каждый день тайно звонила ей. Хотя мы никогда не запрещали ей этого. Было много разговоров всех со всеми, обещаний постараться и потерпеть. Но я чувствовала: как раньше уже не будет. Однажды Джон тоже перестал убеждать меня, что все наладится. Он сам больше не верил в это. Чем больше гадостей делала София,

тем более виноватым и отстраненным становился Джон. А я, как всегда, молчала, хотя все во мне просто вопило: это была глупая идея, Джон! Ты должен был спросить меня.

Нам начали звонить с претензиями из школы. Наконец Джона остановила мать той одноклассницы с телефоном: София украла его и расколотила – это сняли школьные камеры наблюдения.

И тогда я произнесла это: школа-интернат. В тот вечер София была дома с няней. Мы с Джоном оба к тому времени подсели на антидепрессанты, задерживались на работе или ходили на ужины с коллегами, лишь бы не возвращаться домой. Мы почти перестали видеться. Няня вместо одного вечера в неделю, как планировалось изначально (вечер романтических свиданий, чтобы мы могли побыть с Джоном вдвоем), приходила к нам каждый день.

Я пригласила Джона на ужин. Разговор не шел. Мы молча сидели с постными минами и ждали закрытия ресторана. Я сказала:

– Так не может продолжаться. Ей там будет хорошо – отличные условия, внимательные учителя и психологи, которые, в отличие от нас, знают, что делать. Мы будем забирать ее на каникулы, если она сама захочет. Очевидно, так будет лучше для всех.

Я ожидала, что Джон будет спорить, возмутится, закричит, будет предлагать какие-то другие решения. Но он виновато посмотрел на меня и согласился. Больше мы ничего не обсуждали. Через неделю отвезли Софию в интернат. Она не плакала, не расспрашивала нас ни о чем – будто ничего не случилось. Будто так и должно было быть.

Я убрала с глаз игрушки, все, что напоминало о Софии. Перестала заходить в ее комнату, которую мы к ее приезду перекрасили в розовый. Мне не было радостно от того, что она уехала. Мне было больно, я чувствовала себя виноватой. Да что там – настоящей сукой.

Мы наконец съездили в отпуск на Сен-Барт, как планировали. Но ничего не стало как прежде. Между мной и Джоном пролегла глубокая трещина, и я ничего не могла изменить, как ни старалась. Джон ушел. Чувство вины уничтожило его. Я превратилась в сообщницу, свидетельницу его падения и лишнее напоминание. Впрочем, это моя догадка – мы так и не смогли объясниться. Впервые в жизни.

Мои мысли прервались – такси подъехало к Ленинскому. Этот дом я запомнила точно таким же: сталинский, цвета разбавленной охры, с арочными балконами. Посмотрела в заметках телефона подъезд, код, этаж. Ключ мне дал какой-то бабушкин знакомый, который ждал внизу на скамейке. Сказал, пристально глядя мне в глаза, что бабушка умерла в больнице. Я неловко поежилась. Да, действительно, мне было бы тяжелей идти туда, где она умерла.

Я отвыкла от советских домов. В подъездах всегда стоял какой-то особенный запах. Излишне личный, еды и лекарств, старой мебели. Я без труда открыла обитую коричневым потертым дерматином дверь и вошла. Было темно – шторы были задернуты. Как траурно и печально. Я инстинктивно поморщилась, опасаясь старушечьих запахов. Но в квартире было свежо, хоть и немного пустовато. В спальне ютилась аккуратно застеленная клетчатым покрывалом узкая кровать, в углу стояла тумбочка с тремя зеркалами, кажется, Ба называла это трельяж, большой старомодный платяной шкаф с потускневшим зеркалом был здесь главным. Большую часть гостиной занимал диван, покрытый пушистым полосатым покрывалом. Я вспомнила это покрывало. Я любила валяться на нем, когда Ба читала мне сказку «Дикие лебеди». Я была уже слишком взрослой для сказок вслух, но мне почему-то нравилась эта история про онемевшую Элизу.

На тумбочке поблескивал экраном допотопный телевизор. Книжные полки – Ба, хоть и не получившая высшего образования, любила читать. Печатная машинка на столе. Никаких мелочей. Фотографии – моя и Маши. Обе мы на них школьницы. Стопка наших поздравительных открыток, перевязанная лентой. Как стыдно – их могло быть и побольше.

Я прошла на кухню. Такая же нежилая, как и вся остальная квартира. Интересно, Ба готовилась к моему приходу? Специально распорядилась выбросить все лишнее, чтобы мне не пришлось возиться? Глупо, Лиза, она столько лет прожила с сиделкой.

На видном месте, на столе, лежала пухлая папка неопределенного цвета, перевязанная аккуратной бечевкой. На папке от руки было выведено «Лизе» и дата – десять лет назад.

Хм. Фотографии? Документы? Старческие мемуары?

Открыв папку, я ужаснулась количеству печатных листов. Сколько же она их писала? И еще кольнуло: сколько же я их буду читать?

Здесь же было две фотографии, которых я никогда не видела. На первой была запечатлена девочка-подросток, лет, как мне показалось, тринадцати. Темноволосая, с длинной тяжелой косой через плечо. Широкая атласная лента, завязанная в бант. Щечки с ямочками. Кокетливый взгляд из-под длинных ресниц. Эта девочка была явно высокого о себе мнения. Я с трудом узнала в ней юную Ба. На обратной стороне стояла дата – 1938 год. На второй фотокарточке тоже была Ба, но уже совсем другая. Неудачно уложенные волосы до плеч, огромные запавшие глаза. Ни улыбки, ни самодовольства. И совсем другой взгляд. Взгляд взрослого, повидавшего жизнь человека. Я перевернула фотографию – 1946 год. Значит, Ба здесь всего лишь двадцать один год. Что же случилось с ней? Что так сильно изменило ее?

Мне захотелось поскорей избавиться от всех формальностей и отправиться завтракать.

Я решила, что прочту пару листов, стала вспоминать, кто из моих бизнес-знакомых сейчас в Москве, и начала читать:

«Дорогая Лиза,

Мы не были с тобой близки – так уж сложилась жизнь, ничего уж не поделаешь... Так захотела Маша, а я не посмела возражать – все-таки она твоя мать, и она решала, как тебе, ребенку, жить и с кем общаться. Мы с ней не смогли понять друг друга ни в этом вопросе, ни во многих других. Сейчас я, конечно, жалею. Сильно жалею. Часто вспоминаю то лето, когда ты приезжала. Это, наверное, последнее мое приятное воспоминание.

Сколько мне осталось – никто не знает. Память уже начала подводить меня. Поэтому я решила рассказать тебе о своей жизни, пока еще способна. Моя жизнь не была выдающейся, и я не хочу «оставить след», как говорится. Я хотела бы одного: чтобы ты меня поняла. Не простила даже, а поняла. Да, мне нужно объясниться перед тобой. Ведь все, что со мной произошло, так или иначе повлияло и на Машину жизнь, и на твою. Может, я надеюсь на это, мой рассказ что-то для тебя поменяет. А не захочешь читать старухины бредни – выбросишь, мне уже будет все равно.

Поначалу мне было очень трудно полюбить ее, Машу. Она была такая маленькая, крикливая и совсем некрасивая. Я радовалась, когда кто-то брал ее у меня, качал, пел колыбельные. Не умела этого, ведь я была совсем молодой, когда она родилась, – всего восемнадцать лет. Не интересовалась маленькими детьми – они меня не умиляли, скорей пугали. Помню, зашли с матерью к кому-то, а там был маленький ребенок. Мне сказали: побудь с ним – и ушли. Подошла к кроватке – ребенок сидел и играл погремушкой. Мне почему-то захотелось уложить его: ребенок – значит, пусть спит, а я буду его нянькой. Большой такой был, лобастый мальчик. Уложила его – он тут же поднялся, я снова уложила – он опять поднялся. Как ванька-встанька. Испугался, стал плакать, кричать, покраснел весь. Я поняла, что не знаю, что с ним делать, – совсем была беспомощна. Так и с Машей. Долгое время не знала, что делать, как утешить, как кормить. Страшно признаться – хотела отдать ее кому-то, кто лучше смог бы позаботиться о ней, но не смогла. Память о Розе не дала мне этого сделать. Ты не знаешь, кто это, а ведь в честь нее тебя могли назвать Розой – я просила Машу.

Я не говорила Маше о ее рождении и первых годах жизни – ведь сказать правду было не так-то просто, сложно и сейчас. Ты поймешь почему. Теперь, когда я уже ветхая старуха,

когда умерли все свидетели произошедшего, могу наконец позволить себе быть откровенной. Да и если не сейчас, то уж никогда.

Начну с тех событий, с которых, мне кажется, все в моей жизни закрутилось не в ту сторону. С рождения мне, думаю, была предначертана совсем другая судьба: беззаботная, счастливая. Но вот так по крупинкам, опрометчивыми необдуманными поступками я изменила ее.

Надеюсь, ты не осудишь меня. Мне хочется думать, что нет. Я много ошибалась и сама пострадала от этого. И только я сама знаю, каково это было.

Благословляю тебя. Будь счастлива, Лиза.

Нина Трофимова

Твоя Бабушка»

Глава 2

В январе 1941-го холода стояли лютые. До -42 доходило. Помню обездвиженные, примерзшие к обледенелым проводам трамваи, закутанных людей, большими бесформенными тушами бредущих в стужу. Ходили слухи, что из-за недостатка горючего стояли «Красный богатырь» и «Электрозавод». Говорили, что какая-то женщина замерзла на Солянке. Но газеты писали лишь про бедного лебедя, который погиб в зоопарке. Но что точно – на несколько дней закрыли катки (мне тогда пятнадцать лет было – трагедия). С задержками привозили хлеб и булочные (тут уж мать возмущалась). Но все же Москва продолжала жить почти как обычно.

Вечером мы с отцом должны были пойти в консерваторию. У нас было заведено, что каждую неделю, раз или два, отцу доставали билеты. Мы ходили на выставки, пересмотрели театральные постановки и абсолютно все фильмы, которые только показывали в то время.

Утром отец звонил матери с работы и сообщал: передай Нинон, пусть собирается – сегодня идем на «Мадам Бовари». Я возвращалась из школы, а мать мне объявляла: сегодня идешь с отцом в театр. Как я радовалась! Это значило, что отец не задержится на работе до ночи и мне не придется ужинать одной со скучной матерью. Наоборот – весь вечер отец будет умничать, смешить меня, а потом – кормить мороженым. Я наспех обедала и садилась за уроки. Сложнее всего давалась геометрия – сплошные «посы»². Но я не расстраивалась – главное, отец не ругал за них. Так, посадит и журит: «Ну что ж ты, Нинон?»

В тот вечер я нарядилась в светло-голубое шерстяное платье с «вафлями» на груди. Мне очень шло – папа и фасон, и ткань сам выбрал, не оставил матери на откуп: та норовила одевать меня поскромнее. Я надеялась, что отец придет пораньше, посидит со мной, выпьет чаю с моим любимым крыжовенным вареньем. Скажет: «Ну что, Нинон?» А я отвечу: «Папка...» Не было для меня человека честнее и правильнее его. Он был мой детский идеал. Сейчас я думаю по-другому, но тогда...

Отец происходил из обедневших костромских дворян, но успешно скрывал это. Родители его умерли рано, он жил у тетки, потом скитался, голодал. А с революцией все заладилась: пришлось очень к месту. С самого начала в партии: «надежный товарищ», «грамотный партиец». У нас до 37-го на Ульяновской, дом 26, закатывали банкеты: через черный ход заносили корзины с шампанским и деликатесами. Какой запах стоял! Никогда больше не довелось мне сидеть за такими столами. Несмотря на кажущуюся простоту, отец был очень аккуратный, знал, кого пригласить, кому что сказать, с кем о чем пошутить. Поэтому, наверное, уже к сорока пяти годам и стал директором фабрики. А может, и потому, что предыдущего директора отправили в лагерь, а отец оказался в нужное время на нужном месте. Не знаю.

После всего, что со мной случилось, отцовской фотографии у меня не сохранилось, конечно. Внешне не было в нем ничего аристократического: был он коренастый, лысоватый, с оттопыренными ушами и короткими пальцами с круглыми, никотинового оттенка ногтями. Одевался он всегда солидно: летом ходил в бостоновом костюме, зимой – в коверкотовом пальто с каракулевым воротником. До сих пор помню запах мороза и табака, которые отец приносил с улицы.

На голубое платье я приколола брошку. Мне ее отец подарил на пятнадцатилетие. Изящная серебряная стрекоза, а глаза – изумруды. Отец меня так и называл: попрыгунья-стрекоза. Очень я ее любила, ту брошку.

² Разговорное сокращение школьной оценки «посредственно», которую ввели в 1935 году вместо «удовлетворительно» и в 1944 году заменили на «3».

Мать наблюдала за моими сборами и, как обычно, зудела, в этот раз про холод: «Зачем ходить, все себе заморозишь, заболеешь». Она не понимала: я готова была хоть пешком по морозу идти – лишь бы вдвоем с папой.

Мать моя была его второй женой. Младше отца на десять лет. Приехала из белорусской деревни совсем молодой, тоже по партийной линии. Работала у него домработницей да ловко женила на себе, растерянного, сразу после смерти его первой супруги.

Но на этом ее ловкость как-то закончилась. После родов мать располнела, запустила себя. Одевалась модно, были такие возможности, но как-то без особого лоска, будто делала это из необходимости соответствовать отцу. Сейчас я понимаю, что стеснялась ее, мать, больше похожую на домработницу.

С нами она никуда не ходила, ложилась пораньше спать. Отец говорил, что не интересовалась искусством. Если это и было правдой, то только частично. К этому моменту я уже стала подозревать, что мать ему смертельно надоела и отец завел любовницу. Задерживаться стал на работе, я его только и видела, что в эти «театральные дни». Даже на выходных умудрялся уезжать. Говорил: производственная необходимость. Однажды я увидела отца на улице с другой женщиной. Они куда-то торопились, он одной рукой держал ее под локоток, а другой вел маленькую девочку с красным бантом, которая отставала и капризничала. Девочку с таким же вздернутым, как у меня, носиком и широким, как у моего папы, лбом. Я спросила об этом, но папа невозмутимо ответил, что помогал секретарше с ее дочкой, что они совсем не устроены. И тогда же, мне кажется, мы начали ходить в театры. Это было за несколько лет до событий, о которых я хочу тебе рассказать.

Забегая вперед, замечу, что несмотря ни на что, я думаю, что отец мой все-таки любил меня. Был аккуратным, как я написала, сейчас бы скорее подошло слово «дипломатичным». Но в его случае это часто превращалось в нерешительность, боязнь поступить «не так», не угодить. Сложно осуждать – времена тогда были такие. Опасные. Именно поэтому, я думаю, он не уходил от матери, не разводился с ней. Именно поэтому он и предал меня. Но об этом позже.

Часы пробили семь часов вечера, а отца все не было. Мать уже извелась: билеты пропадут, деньги уплочены. Концерт начинался в семь тридцать. Я тоже стала волноваться – неужели не пойдем? В консерватории в тот вечер собирались исполнять Бетховена. Восьмую симфонию, концерт для скрипки и увертюру «Эгмонт».

Тут внизу посигналила машина. Выглянула во двор: точно, папин служебный ГАЗ-А стоял у подъезда. Отец уже топтался по снегу, нетерпеливо курил и, увидев меня в окне, махнул: спускайся! Я накинула пальто, шапку и побежала вниз под крики матери: «Застегнись! Куда, голая?»

Отец всю дорогу был непривычно тихим, задумчивым. Он и раньше не любил при водителе языком молотить: так, о погоде да и только, но тут и вовсе молча клюнул меня в щеку и уткнулся в воротник. Будто и не рад был меня видеть.

Успели ко второму звонку. В антракте, в буфете отца окликнул высокий, лет сорока, брюнет в двубортном твидовом костюме: расслабленный вид, насмешливый взгляд, слегка осоловелые от коньяка глаза. От манеры пить кофе, отхлебывая маленькими глотками, держать блюдце, опершись при этом локтем на столик, веяло небрежной уверенностью в себе. Я не знала тогда, что этот человек сломает мою жизнь. Он широко улыбнулся и проговорил, обращаясь к отцу:

– Не ожидал вас сегодня здесь встретить, Сергей Васильевич. Надеюсь, вы не в обиде на меня за то, что я сказал на собрании, да? Это конструктивно.

Отец весь будто подобрался, завибрировал:

– Ну что вы! Все, так сказать, учтем. Я только за конструктив. Только за него! Как же еще? А вот, так сказать, познакомьтесь. Это моя дочь Нина. Нинон. Это Алексей Петрович Гумеров.

Мне стало неприятно, что отец вдруг принялся так заискивать перед каким-то пижоном. Ну кто это такой, чтобы так себя с ним вести? Я помнила, как отец накануне сухо отчитывал грузчика в магазине, как на прошлой неделе запальчиво спорил с приятелем, дядей Жорой, тот, правда, не был ни большим, ни вообще никаким начальником. Как утром кричал на дворника, в конце концов. Отец всегда был хозяином положения, но не в тот раз. Мне стало стыдно за него.

Алексей Петрович молча взял меня за руку, усмехнулся и поцеловал ее. Я смутилась. Почувствовала, как краснею. Что значила эта усмешка? Он находил меня маленькой? Неловкой? Неуместной? Что?

– Нинон? В каком же классе ты учишься?

Я расстроилась: ну конечно – никак не тяну на свои шестнадцать. И все моя плоская грудь!

– В девятом.

– Хм... Может, к нам, на фабрику подрастает смена? Как вам такой сценарий? – подмигнул отцу. – Стране нужны инженеры!

– Нина очень талантливая девочка. Будущая, мы надеемся, так сказать, журналистка.

Я удивилась. Знала, что отец во мне души не чаял, но назвать меня талантливой? К тому же по поводу журналистики у него были сомнения – такая уж ли надежная профессия? Мы много спорили об этом в последнее время. Интересно, он только Гумерову так сказал или правда переменял мнение?

За спиной послышался низкий женский голос:

– Ой, Алеша... Никак не могла тебя отыскать. В дамской комнате такая очередь...

Я подумала: у владелицы такого контральта обязательно должна быть большая грудь! Оглянулась – и точно. Высокая брюнетка, ростом с Алексея Петровича, разодетая в пух и прах, в модном желтом платье из фэйдешина, в маленькой затейливой шляпке в тон, едва кивнув, не дав никому возможности ни представиться, ни представить ее, обратилась к моему отцу:

– Как вы находите Рахлина? Мне кажется, он сегодня какой-то... какой-то... не как обычно... Евреи такие нестабильные, нервные...

Я обожала Рахлина. Неловкий застенчивый толстячок – я встретила его как-то на улице, закутанного в какой-то нелепый клетчатый шарф, – на сцене превращался в могучего великана, в яростного льва. Шаткий пюпитр и стулья, стоявшие близко к сцене, тревожно вздрагивали. Лицо Натана Григорьевича с большой родинкой на щеке то перекашивалось, ужасало, то вдруг делалось спокойным, расплывалось в улыбке. А какое соло было сегодня у духовых в «Эгмонте» – я заплакала.

Мне стало обидно, что кто-то сказал про моего Рахлина, будто он «какой-то не такой». Я почувствовала, как краснею, мне так и хотелось ответить этой дамочке какую-нибудь дерзость. Я судорожно соображала, как бы колкость ей сказать, но папа крепко взял меня за локоть:

– Зато Полякин, говорят, сегодня, так сказать, в ударе?

– Ах да, первая скрипка! Не знаю, не тронута, нет... Как-то все... – сомневалась дамочка.

– А девочка моя всплакнула. Правда, Нинон? – засмеялся отец.

Все рассмеялись. И отец, и дамочка, и этот Алексей Петрович. Мне стало неловко и противно. Отец в присутствии чужих неприятных людей обсуждал мои слезы! И зачем? Лишь бы поддержать разговор! Он никогда так раньше не делал.

Прозвенел третий звонок, мы спешно раскланялись и разошлись. Мы с отцом в партер, они – в ложу. Я слушала музыку, но настроение уже было испорчено этой дылдой и ее мужем. Во втором отделении мне казалось, что я чувствую его противный взгляд у себя на шее. После концерта отец засуетился, заторопился домой, не стал покупать мороженого, как обычно. А дома заперся в кабинете, не стал даже чай пить, как привык.

Мать уже легла – она никогда не дожидалась нас. Мне кажется, наши уходы были для нее облегчением. Была и еще одна причина – о ней я скажу позже.

Я была вне себя от обиды. Ушла в комнату, хлопнула дверью и улеглась в чем была на кровать.

Перед сном отец все же зашел пожелать мне спокойной ночи и как обычно выключить свет. Я все еще дулась:

– Никогда так больше не поступай со мной, папа!

Но он сделал вид, что не понял:

– Да что ты выдумываешь, Нинон? Тебе все показалось. – А потом серьезным голосом добавил: – Слушай, Нинон. Алексей Петрович теперь мой начальник. Начальник – это очень большой человек! – Он поднял указательный палец вверх. – Ты уж постарайся, так сказать, понравиться ему и его жене. Не говори ничего такого. Прошу тебя. – И еще раз повторил: – Ты постарайся, ладно?

Я проворчала «ладно» и вскоре уснула, не подозревая, что этот день стал началом конца, когда все в моей жизни рухнуло.

Глава 3

На следующий день я пошла в школу, хотя учиться страх как не хотелось – день был ясный, солнечный, мне не терпелось с одноклассницами, Татой Малышевой и Кирой Головиной, поехать на Чистые пруды на каток. Компания у нас была девичья – мальчишки нас не интересовали. Может, потому что в классе нашем все подобрались какие-то тщедушные и неинтересные – не знаю. Тата была полненькой кудрявенькой блондиночкой, простодушной инфантильной академической дочкой. А Кира – ее противоположностью: резкой, язвительной черноглазой брюнеткой с короткой стрижкой. Кира была дочерью, как я потом поняла, репрессированных.

Последний урок как назло задержали – учили делать перевязки. В те годы военщины было много: тренировались надевать противогаз – сдавали норматив. Изучали оружие, отравляющие вещества. До сих пор помню их названия: газообразных – хлор, хлорпикрин, фосген, дифосген и жидких – иприт, люизит. Как раз шел фильм «Если завтра война...», там немцы применили отравляющие газы, а наш герой погиб, не успев надеть противогаз. После заключения с немцами пакта о ненападении фильм тут же сняли с показа – мне это почему-то запомнилось.

Еще выполняли нормативы ГТО – «Готов к труду и обороне». Попробуй не выполни... Накануне, до сильных морозов, сдавали нормы по лыжам. Норма – 22 минуты, а я прошла за 20. Срезала углы в трех местах, но никто не заметил. Тогда мы не задумывались, нужно – не нужно. Делали – и все. Время было такое. У нас была сандружина – учились переносить «раненых», оказывать первую помощь, собирать санитарную сумку. В начале войны с этими знаниями многие пошли санитарками на фронт.

Мне эта военщина казалась невыносимо скучной. Помню, как крутила в руках размотанный несвежий бинт и вспоминала вчерашний поход в консерваторию, бедного Рахлина. Эту неприятную встречу с папиным начальником и его холеной женой. Начальники в моем представлении были с залысинами, с посеребренными висками, в строгих, часто старомодных костюмах. Только такие приходили к нам в дом. А Гумеров что ж? Молодой франт с женой-дылдой. Почему папа так боялся его? Или мне показалось?

В тот день нас учили делать перевязку головы – такую шапочку из бинтов. А я думала: теперь уж папа разрешит – стану журналисткой, так на что мне эта шапочка? Кровь, гной, бинты... Сказали бы мне тогда, что стану акушеркой, – ни за что бы не поверила.

Наконец зазвенел звонок, и мы подхватились на Чистые пруды. Добежали – а каток оказался закрыт из-за мороза. Что за невезение?

Ну что же – отправились к Тате Малышевой. Жила она на Чаплыгина, в роскошной квартире на третьем этаже. И была у Таты мачеха, почти ровесница, и под стать квартире, такая же роскошная. Высокая, светлые волосы, уложенные замысловатой волной, наманикюренные длинные пальцы, держащие мундштук. Марья Николавна, а попросту Мура, хорошо к нам относилась, угощала папиросами, одежду давала примерять – это и было тогда наше любимое развлечение. А одевалась Мура, на минуточку, в Московском Доме моделей у самой Надежды Макаровой – была до замужества ее любимой манекенщицей. Академик, старше на тридцать лет, оказался тем еще ревнивцем: не выпускал жену из дома, так что висели эти тряпки по большому счету в шкафу. Одинокую, скучающую Муру, я думаю, забавляло покровительствовать нам, учить нас, девчонок.

Она показывала нам, неофитам в женском деле, как правильно ходить, садиться, чтобы мужчины обращали внимание. Чтобы это не выглядело ни вульгарным, ни слишком кокетливым, но оставалось при этом женственным. Учила, как красиво краситься – в нашем распоряжении была вся ее косметика – помады, пудры «ТэЖэ». Особенно запомнилась мне тогда

помада «Красный мак» в серебряном тюбике. Мура очень следила за собой в отличие от моей матери.

Напились мы с Кирой чаю с морозу, Мура плеснула нам капельку вина «Абрикони». Мы развалились на диване и принялись курить. Нам тогда казалось страшно важным научиться курить женственно. Я сидела закинув ногу на ногу и старалась держать папиросу манерно, как в кино, дугой выгибая пальцы. Кира сосредоточенно выдыхала дым, пытаясь выпустить колечко. Мура хохотала над нашими с Кирой потугами, как мы старались не кашлять, как слишком часто нервно стряхивали несуществующий пепел в хрустальную вазу. Тата же полулежала в кресле и задумчиво перебирала пухлыми пальчиками страницы нового журнала мод с фотографиями – мы как раз обсуждали, какая прическа подошла бы к ее круглому лицу. Она не курила с нами, говорила, что не нравится вкус табака. Но мы знали: боялась отца. Хоть и академик, а поколачивал ее – не раз мы с Кирой замечали у Таты синяки. А она каждый раз придумывала нелепые объяснения: поскользнулась в ванной, ударилась о шкаф, упала с кровати. Все было понятно без слов. Думаю, медлительная троечница Тата раздражала папашу-академика. Но что поделать – природа.

Наконец Мура предложила переодеться. Обычно она вела кого-то из нас в хозяйскую спальню, а остальные, зрители, сидели в гостиной на диване и ждали представления. Первой пошла, а вернее побежала, дрожа от нетерпения, я. Мура щедро распахнула плотно забитый нарядами шкаф с невыветриваемым нафталином первой академической жены – можно было брать все что вздумается.

Я задумалась и вспомнила вчерашнюю фифу в файдешине. Как она себя держала! Такая уверенная в себе! Мне захотелось соорудить что-нибудь этакое: я нахлобучила на голову шляпку с перьями, Мура набросила мне на плечи китайский халат, предложила шелковые чулки, пристегнула их к поясу. Как в настоящем борделе! Я видела летом на даче такие фотографии у мальчишек.

Наконец я оценила себя в зеркале: самую малость распахнутый халат, шелковые чулки, папироса в руке. Почувствовала себя неотразимой. Очень взрослой. Сексуальной. Хотя тогда еще не знала этого слова.

И вот я вышла, вихляя бедрами, – а в коридоре стоит папин начальник, усмехается. И тут на меня нашло: не подала виду, что смутилась, а наоборот, азарт взял. Как будто я – не я. А роль такая. И я актриса в театре. По меньшей мере Любовь Орлова. Подумаешь – начальник. Покажу тебе Рахлина! Остановилась, улыбнулась ему и говорю как ни в чем не бывало:

– А, Алексей Петрович! Здравствуйте! Как поживаете?

Он нисколько не смутился, стал подыгрывать мне:

– Чайку не нальете, Нинон?

Что тут началось! Насилу его Мура вытолкала. А потом напустилась на меня:

– Ты что? Он же муж Надьки Гумеровой – живут в нашем доме, у ней папаша зам. наркома! Что он про тебя подумает?

– Да ничего не подумает – тоже мне, – начала оправдываться я.

– А вдруг Надьке расскажет? Ну дела!

Тата от удивления раскрыла рот:

– Неужели ж расскажет?

Мура уже успокоилась, села в кресло и закурила:

– Жалко ее... Надька ведь бездетная. Он ее по молодости заставлял аборт делать, чтобы фигуру не испортила. Зато теперь платья на ней сидят – первый сорт.

– Вот гад, – злобно цыкнула Кира и нервно забарабанила пальцами по подлокотнику – была у нее такая привычка.

– Откуда он появился вообще? Как черт из табакерки, – перебила я их, запахнув халат. Я больше не чувствовала себя неотразимой. Наоборот – нелепой в этой пахнувшей чужим телом

одежде. Мне было неловко и неприятно обсуждать дылду, к тому же я испугалась, что наши игры с переодеваниями теперь закончатся.

Но Муру, похоже, эта ситуация стала забавлять:

– Надьку искал. Приходит она ко мне поболтать. Наивная – ой, не могу! Любит его безумно. А он, говорит, игнорирует. Все на работе пропадает...

Тут снова вмешалась Кира:

– Нинка тоже хороша так ходить. Даже вообще-то не постеснялась чужого человека.

Я разозлилась. Накинулись на меня, будто одна я виновата.

– Я-то что? Отвернулся бы. Стоит – смотрит. А может, я ему понравилась?

– Да... ну Нинка... – растерянно захлопала глазами Тата.

– Ты ж дитя еще! А такие вещи говоришь! Ну дает! – расхохоталась Мура.

– Тоже мне... Я взрослая.

Кира хмыкнула:

– Взрослая. Ты вообще-то лифчик себе взрослый купи сначала.

Знала, как я переживала по поводу своей плоской груди. Доверилась ей, рассказала зачем-то. Дура...

Засобиралась, ушла. Так и не придумала, что ответить. Настроение у меня было плохое. Спускалась по лестнице и размышляла: почему мы дружим? Вот если разобраться? Никакой особой любви или хотя бы доверия между нами не имелось. Тата с Мурой была ближе, чем с нами. Та перед отцом ее прикрывала, одевала, советы давала, как мальчишкам понравиться. Даже когда Таткина мать померла, ну, пришли мы на похороны, конечно, цветы принесли, постояли. Потом Тата в школу вернулась – стали общаться как ни в чем не бывало: никогда про мать не говорили. Душу Тата нам не раскрывала, даже что отец бил. И когда он сразу мачеху в дом привел – тоже. Даже сблизилась мы из-за этих папирос и тряпок, получается, – до этого было скучно с ней, с Тагой.

Или взять Киру. Дочь репрессированных. Отреклась, конечно. В детдом отослать хотели, но тетка забрала – договорилась, спасла, перевела в новую школу. Жили трудно. Кира не жаловалась, но понятно стало, когда как-то раз пришли проведать ее – болела долго. Захламленная комнатуха в коммуналке. Спала Кира на каком-то чуть ли не сундуке. Я тогда не понимала своих привилегий, удивилась вслух: «Ты так живешь?» Помню, как Кира выгнала нас тогда – и поделом. Вся страна так жила.

Кира злая была. Вечно девчонок, что послабее духом, доставала. Вот что нас с Кирой объединяло: мы хотели быть первыми, лучшими, самыми умными. Но понимали: невозможно быть первыми везде, поэтому друг другу и помогали. Чтобы не дать победить остальным.

Ты бы видела нас при этом – милые девочки, атласные ленточки в косах. Тогда даже хвостик носить считалось неприличным. Формы не было общей. В нашей школе носили синие халаты с двумя карманами и с белым воротничком, на них не так были заметны пятна от чернил – непроливайки тогда еще не придумали. Мы с Кирой специально эти халаты укорачивали, но не слишком сильно, не придерешься.

Размышляла я обо всем, ругала себя, что не придумала, как Киру отбрить, – а между этажами он курит. Опять Алексей Петрович. Обрадовалась, сердце занялось: произвели все-таки шелковые чулки впечатление. Нет, не зря все, не зря. Может, не такая уж и плоская у меня грудь. А он дым выпустил и снова улыбнулся, насмешливо так:

– Что же не в халате, Нинон? Или холодно?

Меня покорило, что он так назвал меня. Только папа имел на это право:

– Нина. Не холодно. Готовлюсь нормы ГТО сдавать – в халате несподручно.

– Ну ты даешь... н-да, такой вот сюжет.

– Так я пошла?

– Иди... Только вот что спросить тебя хотел... Хм... Правда, что ли, на журналистику нацелилась?

– А что?

– Ничего. Хорошая профессия. Не пыльная. Хотел предложить... хм... экскурсию. Статью, например, для школьной газеты напишешь. Вот какая тема тебя интересует?

Я растерялась и ляпнула первое, что пришло в голову:

– Ну... про... ударников производства, например.

В то время много про них говорили. Гумеров тут же подхватил:

– Отлично! Очень актуально. Может, и «Комсомолка» возьмет...

Я испугалась: а вдруг не справлюсь? Вот позор будет! Все узнают, как Трофимова провалилась. Аж колени подгибаться стали, от волнения затошнило, но виду не показала:

– Думаете, откажусь? А я возьму да и напишу!

Гумеров посмотрел на меня задумчиво и сказал:

– Ну так приходи ко мне, например, завтра. После уроков. Часа в четыре. На улицу Кирова. Знаешь же где? Спецпропуск тебе закажу. Расскажу, как что устроено на производстве. Про ударников. Договорились?

Я молчала. «Черт-те что. Не заигралась ли я? Он, наверное, думал, что я в стенгазету пишу, что уже печаталась где-то. А я же, кроме школьных сочинений, – ничего. Что ответить? Как правильно? Эх, была не была!»

– Договорились, Алексей Петрович.

– Бывай, Нинон. Нина... Журналистка...

Радостная и одновременно испуганная возвращалась я домой. Про девчонок и думать забыла. «Я – журналистка. Настоящая! Вернее, стану ею. В школе не буду рассказывать – все равно не поверят. А потом принесу газету со своей статьей – все в обморок хлопнутся. Какая Нинка Трофимова молодец! И Кире этой еще придумаю, что ответить. Поплачет она у меня! А папка-то как будет гордиться!»

Вечером рассказала папе – он оказался дома. Выслушав меня, он почему-то не обрадовался, а насторожился:

– Что за блажь? При чем тут, так сказать, заметка? Сама напросилась? Так, что ли, Нинон? К самому Гумерову?

– Не говорила ничего...

Уж не стала признаваться, при каких обстоятельствах я с Гумеровым сегодня встретила. Папа не знал, чем мы у Муры занимались. Да он, к счастью, и не стал про это расспрашивать.

– Не к добру это все. Ничего от меня не скрываешь? Неужели мной заинтересовались? Черт... Что делать? Как быть?

– Пап... Ну может, я ему просто интересна? Как человек, как личность? Как примерная комсомолка? И он решил именно мне помочь с заметкой? Может, хочет, чтобы я про фабрику написала.

– Ты? Нинон... Да что ты понимаешь? Эх... И главное – что делать, так сказать, непонятно. И не идти ведь ты не можешь. Как бы нам...

– Обещала уже. Договорились же.

Мне стало страшно, что отец запретит. Очень хотела пойти. Было в этом что-то... взрослое. Ведь во всем, что я до этого делала, был папа. Ни одного решения до того дня не приняла сама, ни одного платья не выбрала.

Мать сидела на кухне вялая, помешивала давно остывший чай. Отец пошел к ней советовать. Я замечала, что как бы он ни хорохорился, а всегда в сложных ситуациях слушал ее мнение. Мать задумалась:

– Так это самое, Сережа. Может, больничный ей взять, а? А вместо Нинки другую корреспондентку послать?

Я испугалась, что сорвется:

– Ну папа! Я же обещала! Он меня ждет!

Отец отмахнулся:

– Все не то... Дайте-ка подумать. Неспроста все это, Нинон. Ох неспроста. Сама понимаешь, времена какие – осторожности требуют, и в делах, и в словах, и в мыслях. Что-то тут не так... Но Гумеров – как не пойти, когда он сам позвал? Деваться некуда.

Что сказать? Я была наивной. Очень наивной избалованной девочкой, не знавшей жизни. Мне казалось, что будущее мое предопределено и беспокоиться не о чем. Я была уверена, что ничего плохого со мной случиться не может. Родители будут жить до старости. Поступлю в институт, выйду замуж, нарожаю детей. А вышло все совсем иначе...

Глава 4

На следующий день после школы я все-таки отправилась к Гумерову. Девчонки не знали – я дулась на них и не разговаривала весь день. Они тоже носы воротили. «Ну и ладно, – решила я, – сами виноваты».

Отец, как мне показалось утром, так и не ложился всю ночь. Объявил мне, что не пойти никак нельзя, раз уж Гумеров сам позвал, время назначил. Отец наказал, что если про него речь пойдет, то отвечать на вопросы уклончиво, все запоминать, чепухи не молоть. Говорил, но было заметно, что страшно волновался. Даже заикаться стал. Мать и вовсе с утра не появилась – слегла. Пришлось завтракать одной чем попало.

На улице Кирова растянулось длинное семиэтажное здание розоватого оттенка со сплошными рядами окон, с сильно выступающими вперед торцами и с прямоугольным крыльцом на двух колоннах. Нелепый чужак на старинной московской улице.

Войдя внутрь, я сразу заблудилась. Колонны из искусственного серого мрамора в огромном вестибюле, ни завитушек, ни украшений – все показалось мне непривычным, пустым и безжизненным. Почувствовала себя маленькой одинокой девочкой, брошенной в сказочное подземелье.

Меня отправили на шестой этаж, объяснили, что надо подняться на специальном лифте, который назывался патерностер. Два ряда кабинок без дверей ехали непрерывно, с одной стороны вверх, с другой – вниз.

Гумеровская секретарша, пожилая дама в очках с толстыми линзами, окинула меня цепким взглядом:

– Ты Нина Трофимова, девочка? Алексей Петрович уже ждет.

Я вошла. Гумеров сидел за столом и читал какие-то отпечатанные на машинке листы из серой папки. Мне он показался каким-то усталым и даже старым. Я запомнила его моложе, каким-то другим. Но заметив меня, он тут же преобразился, на лице его появилась уже знакомая насмешливая улыбка. Он встал из-за стола и пожал мне руку.

– Хм... Чайку?

– Можно кофе, Алексей Петрович?

– А давай кофе. Я тоже... хм... если честно, кофе очень люблю. С молоком?

Он позвал секретаршу, распорядился. И уже минут через пять передо мной дымилась чашка ароматного кофе из гастронома. Тут же были шоколадные конфеты в вазочке.

Приказал секретарше:

– Не беспокоить. Очень важный разговор.

Это мне польстило. Я заметила, что Гумеров придвинулся ближе и стал очень внимательно меня рассматривать:

– Ну что, Нина? Про ударников производства?

– Я тут приготовила эти... вопросы...

– Спрашивай.

Я растерялась и стала мямлить. Если честно, никаких вопросов я толком не успела подготовить: только и размышляла на тему «идти – не идти».

– Хотела понять... как они работают... чтобы стать этими... ударниками.

Стало стыдно: надо же было сморозить такую чушь!

Но Алексей Петрович серьезно посмотрел на меня, словно и не заметил моей глупости:

– Главное – энтузиазм. Понимаешь? Нужно работать с энтузиазмом, верить в то, что ты делаешь! Особенно сейчас, когда фактически только один Советский Союз находится вне... хм... войны. Наше государство предоставляет большие возможности: семидневная рабочая

неделя, восьмичасовой рабочий день. Советский человек показал, что может работать больше и даже... хм... лучше. Вот ты. Ты с энтузиазмом учишься, ходишь в школу?

– Если честно, то не очень. Многие предметы откровенно скучные...

– А что же тебя тогда интересует? Чем живешь?

Я смешалась. Взрослый человек впервые задавал мне такие вопросы. Обычно спрашивали, сколько мне лет, как учусь. Но никто и никогда не интересовался, как я живу.

– Ну... театр, кино, ходить на выставки нравится. Папа потому и зовет меня «попрыгунья-стрекоза». Говорит, излишне развлечения люблю. – Тут я испугалась, что сболтнула лишнего.

– Хм... так ты папина дочка?

– Папа меня очень любит – я же у него единственная.

Я подумала, что зря сказала и это. Сейчас начнет про отца расспрашивать.

Гумеров заулыбался, встал и оперся на подлокотник кресла:

– И что же? Доверяешь ему секретники? Рассказываешь подружкины тайны?

– Ну что вы! Как можно? Папа и сам бы слушать не стал! А вообще у нас в семье не принято... секретничать...

Разговор шел явно не туда. Сейчас спросит про какой-нибудь секрет и про папину работу, думала я. Зачем согласилась? Зачем пришла?

– А вот ты, когда что-то с тобой... хм... грустное случается, кому рассказываешь: папе, маме или подружкам?

– Никому не рассказываю. Взрослый самостоятельный человек должен сам справляться со всем грустным. И вообще со всем.

– Ну ладно, ладно... Так ты взрослая, говоришь? – Гумеров заулыбался, потянулся в своем удобном кресле: – А что, если мы с тобой... хм... прокатимся, Нина? Мне пришла пара идей для твоей заметки про ударников.

Я кивнула. Зря я про него подумала, что про отца расспрашивать станет. Он и не собирався. Совсем рехнулась с подозрениями. А все мать с отцом. Поедем на производство. Это же интересно! Я уже побывала на нескольких фабриках, но с классом, еще с отцом пару раз. Приеду с начальником – будут ко мне уважительно относиться, даже завидовать. Как бы только фотографии добыть... Я уже представляла себе первую полосу «Комсомолки».

Мы вышли на улицу. У тротуара стоял ЗИС 101А. Гумеров открыл мне дверцу, галантно подал руку. Сам сел на водительское сиденье.

– Так вы сами за рулем?

Он усмехнулся:

– Да, иногда отпускаю шофера. Люблю сам водить.

Мы тронулись, ехали молча, а спустя какое-то время он добавил:

– Знаешь, а пусть это будет нашей тайной. Мне просто хотелось вот так... хм... поездить.

– Мы не на фабрику? – удивилась я. Рабочий день заканчивался.

Он слегка прикоснулся к моей руке.

– Фабрика успеет. Ты расскажи о себе. Любишь по Москве кататься?

Мне стало неловко. При чем здесь моя рука? Он же случайно? Вроде бы ничего такого, но... как-то странно. Но так приятно, что спросил обо мне, что я люблю. Даже папа никогда этим не интересовался, так, в общих чертах.

– Да я... можно сказать, и не каталась никогда.

– Хм... не возил отец? Почему? У него же машина, шофер, возможности.

– Ну как-то... не принято просто так разъезжать, без дела. Папа не одобряет. Машина все же служебная.

– Тоже мне – без дела! Ну тогда я тебя побалую. Ты смотри, какая Москва красавица.

– Куда же мы едем?

– Да просто. Я тебе одно место покажу.

Мы несколько раз свернули. Я выглянула в окно и увидела Кремль, потом перед глазами пронеслась большая стройка – из земли выросли большие величественные гиганты на металлических растяжках – строили Дворец Советов.

Мы свернули на Крымский мост, снова ехали по Садовому, а потом я перестала узнавать. Это была совсем другая Москва, незнакомая мне. И вот машина затормозила во дворе, как я потом поняла, где-то возле Сокольнического леса. Мы подошли к черному ходу кирпичного дома.

Алексей Петрович открыл дверь:

– Пойдем. Тут друг у меня живет. Чаю зайдем выпьем. Или кофе, как ты любишь.

– Как-то неудобно, Алексей Петрович, друга вашего тревожить.

– А мы не потревожим – его и дома нет.

– Как нет?

– Да так. Хм... Уехал. Мы ненадолго. Не переживай. Да и время еще раннее, просто стемнело. Зима...

Мне было неловко, я подумала о папе, что он непременно отругает, если пойду. И в то же время откажусь – и что он скажет, Алексей Петрович? Что не нужна такая журналистка? И как же заметка... Как неудобно! Я, обмирая от страха, все-таки пошла за ним. Алексей Петрович – он же папин начальник, он не может сделать ничего плохого.

Мы поднялись на второй этаж, никого не встретив. Алексей Петрович уверенно нащупал выключатель и зажег лампочку на кухне. Квартира была маленькая, с отдельным входом, и, видно по всему, холостяцкая, неприбранная: какая-то тахта в углу, на полу книги.

– Ты присаживайся. Не бойся. Не подумай... хм... ничего такого. Просто хочу поговорить с тобой... в другой обстановке. И не там, в кабинете, где все... хм... давит. И не при твоих подружках. Они другие. Ты знаешь... Я почувствовал... Нет, мне скорее показалось, что ты меня можешь понять. Да, такая драматургия.

Я хотела что-то возразить, но он перебил меня, усадил в кресло:

– Ты не представляешь, как я одинок, Нина. Вся эта жизнь... Можно сяду рядом? Да? Можно возму тебя за руку? Простое человеческое тепло. Я так хотел почувствовать его. Ты не такая, как твои подруги. Ты – особенная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.